

**РОЛЛА. Поэма Альфреда Мюссе. Перевод Н. П. Грекова. Москва. 1864.**

**Мир поэзии — безграничное; поэт творит под влиянием возбужденного чувства (вдохновения); вдохновение, с своей стороны, есть нечто совершенно особое, независимое, не столько управляемое поэтом, сколько управляющее им. Поэтому поэт имеет такие свойства, каких не имеют другие смертные, а именно, он может непосредственно проникать в тайны природы и даже прорицать будущее.**

**С природой одною он жизнью жил,  
Он чувствовал (sic) трав прозябанье...**

**Таковы приблизительно понятия, которые не только у нас, но и в Европе (особливо же в отечестве всякого фразерства — Франции) до сих пор соединяются с словами: поэт, поэзия. Разумеется, если вдуматься в них попристальнее, то очень**

**448**

**скоро окажется, что в них, кроме ребячества и великолепной чепухи, ничего нет, тем не менее авторитет их несомненен и имеет силу не только для толпы, непосвященной и бессознательно повторяющей всякого рода определения с чужого голоса, но и для самих так называемых жрецов искусства. Сами поэты (по крайней мере, огромное их большинство) очень серьезно мнят себя служителями безграничного, прорицателями неведомого и на указания науки, здравого смысла и опыта смотрят как на что-то такое, что подрывает поэзию в самом ее корне и существенно противоречит провиденциальной их миссии. И лишь немногие, уже совершенно гениальные личности уразумели, что конкретность, отсутствие преувеличений, определительность представлений и**

ощущений и всегдашнее пребывание в здоровом уме и твердой памяти не только не враждебны поэзии, но даже представляют существенные условия, обеспечивающие этой последней здоровое, живое и разнообразное содержание.

Нет сомнения, что вся изложенная выше путаница происходит, как выражается у Островского Липочка Большова, единственно от необразования. Чем более знаний проникает в массы, тем менее делаются возможными разнузданность фантазии и «смелость полета». Точно то же должно произойти и относительно многих других неосновательных фраз и выражений, которые ныне, благодаря вдохновенным жрецам искусства, пользуются правом гражданственности. Призраки рассеются, туманы упадут, неопределенность исчезнет, их место заступят: знание, ясность представлений и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то станет тогда с тобою, служительница безграничного, бесконечного, неизведанного и неисповедимого?

Но пока все это не больше как гадательное будущее, и потому мы вынуждены довольствоваться поэтами и поэтиками, которые всею силою своих легких отстаивают права мрака и невежества на господство над миром.

У этих маленьких поборников таинственной чепухи бывают иногда престранные фантазии. То кажется им, что мир исполнен света, красоты, чудес и всякой благодати, то вдруг покажется, что мир погряз в зле и безобразии. Сегодня они будут радоваться и петь восторженные гимны, завтра — посыплют главы пеплом и разразятся проклятиями всему человеческому роду. Одним словом, это народ, живущий вдохновенно-бессознательной жизнью, восторгающийся и проклинаящий под игом первого и притом всегда

случайного впечатления, а потому в высшей степени непостоянный и малосообразительный.

449

Повторяем: все это, то есть и бессознательное ликование, и бессознательная скорбь, происходит единственно от необразования. Если бы поэт обладал достаточным количеством знаний, то никак бы не мог сказать:

И не знаю я, что буду  
Петь, но только песня зреет...

Ибо сказать это — значит сказать красивую бессмыслицу (даже не столько красивую, сколько поражающую своею неожиданностью), ибо ничто в жизни не приходит случайно и бессвязно, ибо и на песне лежит печать общего строя жизни, и человек, находящийся в твердой памяти и здравом рассудке, не может не знать, что он будет делать при таких или других (и притом совсем не отдаленных) обстоятельствах. Следовательно, сегодня радоваться восходу солнца, а завтра по поводу восхода солнца печалиться — никак невозможно, так как восход этот сам по себе всегда самому себе равен и всегда имеет одинаковые причины и одинаковые последствия.

Но ежели бы последствием невежественности было только легковерие и волтижерство самих поэтов, то это была бы еще не бог знает какая печаль. Но есть последствия гораздо более вредные и серьезные: мы говорим о предрассудках, которым служит наша заурядная поэзия и распространению которых она всячески способствует. В этом отношении «поэты» не только не могут назвать себя передовыми людьми, но, напротив того, должны сознаться, что суеверия и предрассудки толпы тяготеют над ними всею своею

**массой.**

**Поэзия, будучи в высшей степени причастною всем упомянутым выше предрассудкам, является совершенно неспособною руководить толпою. Ежели толпа убеждена, что солнце восходит оттого, что восходит, а заходит оттого, что заходит, то поэзия утверждает, что отсутствие на горизонте солнца ночью происходит оттого, что**

**Спит с Фетидой Феб влюбленный,**

**а появление его утром — оттого, что**

**...Аврора уж не спит**

**И, смутясь блаженством бога,**

**Из подводного чертога**

**С ярким факелом бежит.**

**Спрашивается, велика ли же разница между убеждениями толпы и представлениями поэзии?**

**Все, что сказано выше, отнюдь, однако ж, не должно быть принимаемо за непризнание поэзии, а тем менее за презрение**

**450**

**к ней. Напротив того, мы думаем, что поэзия сама по себе поедставляет одну из законных отраслей умственной человеческой деятельности и что она ничуть не враждебна ни знанию, ни истине. В подтверждение этой мысли мы можем привести множество примеров, которые прямо доказывают, что чем выше и многообъемлющее поэтическая сила, тем реальнее и истиннее ее миросозерцание. Не говоря уже о Шекспире, этом царе поэтов, у которого всякое слово проникнуто дельностью, не упоминая также о множестве менее сильных поэтов, которые тоже были непричастны лганью, мы можем на примерах гораздо более нам близких удостовериться, что невежество, преувеличения и фальшь никак не могут**

**считаться неотъемлемою принадлежностью поэзии.**

**Вот, например, описание весеннего вечера:**

**«Солнце село, но в лесу еще светло, воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускли; румяное небо синее. Лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают, не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу всё темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звезды. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голосок пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше (охотника) томится ожиданием, и вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу».**

**Наблюдатель не-поэт описал бы этот вечер так: «в такой-то местности, под таким-то градусом северной широты и таким-то восточной долготы, такого-то года, месяца и числа, захождение солнца произошло во столько-то часов, минут и секунд. При этом в воздухе было тихо, а небо было чисто; барометр показывал то-то, термометр то-то». Нет сомнения, что это был бы не более,**

как тощий формулярный список весеннего вечера, но в массе других подобных же списков и он имел бы свое почтенное значение; нет сомнения также, что

451

г. Тургенев (приведенное выше описание принадлежит ему) тот же самый вечер изобразил несравненно поэтичнее, тем не менее описание его ни в одной черте не противоречит истине, и ни один метеоролог или астроном–наблюдатель не позволит себе сказать, что тут есть что–нибудь неверное, нелепое или преувеличенное. Спрашивается теперь: утратила ли картина сколько–нибудь своей поэтической прелести от того, что в ней нет ни «влюбленного Феба, спящего с Фетидой», ни «Авроры, бегущей с факелом из подводного чертога»?

Или вот еще пример:

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе,  
ночь!

Опять и опять я люблю тебя;

Тихая, теплая,

Серебром окаймленная!

здесь также нет спящего Феба и вообще ни малейшей клеветы на действительность, но это не мешает быть картине в высшей степени поэтичною. И страннее всего, что прекрасные эти стихи принадлежат тому же самому перу, которое изобразило и Аврору с факелом в руках.

Все эти соображения пришли нам на мысль по поводу поэмки Альфреда Мюссе, заглавие которой выписано выше. Сама по себе, она не стоила бы даже упоминования — до того поразительно ее ничтожество; но в ней типически выразились те стремления к милому невежеству, которые, к сожалению, еще в весьма большом ходу между так называемыми поэтами.

Дело, составляющее сюжет этой тощей поэмки, по-видимому, очень простое. Дрянной человечешко, по имени Ролла, истощивши свои силы в дешевом и гадком разврате и растративши все свое состояние, решается покончить с жизнью. Чтобы выполнить это намерение, он придумывает пошлую мелодраматическую обстановку, вполне достойную всей его жизни, а именно: покупает у гнусной матери невинную дочь, проводит последнюю ночь в ее объятиях и затем, выпивши яд, умирает. Сюжет, как видится, дюжинный, и проникаться по поводу его негодованием к человеческому роду, выставлать подобный поганый случай, как результат распространившейся страсти к анализу, совершенно ни на что не похоже. Конечно, и ныне встречается на свете довольное количество шалопаев и негодных людей, но ведь никак нельзя же сказать, чтобы и в прежние времена в них ощущался недостаток. Напротив того, история и этнография самым убедительным образом доказывают, что в те времена и в тех странах, где знания слабы, негодяев и безнравственных людей бывает гораздо более, нежели

452

в те времена и в тех странах, где сумма знаний сравнительно больше, где люди осмысливают свои поступки и желают видеть факты в их настоящем свете, а не окруженными непроницаемым мраком невежества.

Но не так мыслит маленький поэт-ик Альфред Мюссе. Пошлый поступок своего пошлого героя он приписывает — чему бы вы думали? приписывает влиянию Вольтера!! Что может быть общего между Вольтером и дрянным человечешком, называющимся Роллою, этого постичь совершенно невозможно; тем не

менее Мюссе твердо стоит на своем и всячески клянется, что не будь Вольтера, не было бы и его дрянного Роллы. По несообразительности своей, он даже не задает себе вопроса: а что, если бы, вместо истории Роллы, рассказать историю какого-нибудь Катилины или другого подобного ему древнего героя, возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть к анализу? Он поэт, и в этом качестве не хочет иметь никакого дела с показаниями истории. Полагая всю сущность поэзии в смелости полета, а всю прелесть жизни — в невежестве, он весьма естественно желает уязвить если не самое знание, то, по крайней мере, поползновение к знанию. Одним словом, он чувствует необходимость защитить дорогое его сердцу невежество, под покровом которого, по мнению его, неприкосновенно сохраняется поэтическая свежесть и цельность жизни. И вот, вооружась всею силою нелепого негодования, он возглашает:

Вольтер! спокойно ли ты спишь в своей  
могиле?

Ты улыбаешься ль, смотря на подвиг свой?  
Ведь век твой молод был, и были не по силе.  
Ему твой злой сарказм и гений адский твой.  
Но нами понят ты. На нас все пало зданье,  
Которое рука воздвигнула твоя.

О, с нетерпением, наверное, тебя  
Ждала немая смерть в могилу на свиданье:  
Ты восемьдесят лет ухаживал за ней,  
И вы должны пылать друг к другу страстью  
сильной,

Обнявшись горячо под грудью червей и проч.  
и проч.

Далее, изобразив самую пошлую сцену, в которой главную роль играют «сладкие немые содрогания», и заметив, что все сии содроганья происходят при



совершенном равнодушии обеих заинтересованных сторон, поэт восклицает:

И вот твое деяние,  
Вот славный подвиг твой! Ты видишь, Аруэт,  
Как этот юноша — весь жизнь, весь пыл и  
цвет,  
Целует грудь ее? как пламенно и нежно

453

Склонил к ее плечу пылающий свой лоб?  
Сегодня он умрет, сегодня неизбежно  
Его под сень свою возьмет холодный гроб.  
Ведь он читал тебя — и всякая отрада  
Чужда его душе и проч.

Что касается до перевода г. Грекова, то он напоминает собой золотые времена Василия Кирилловича Тредьяковского. Уже выписанные выше места достаточно характеристичны, но есть вещицы и покуръезнее этих. Так, например:

И встанет он могуч,  
И в этот темный гроб сойдет без содроганья,  
Рассеяв страшный мрак над ним висящих туч,  
И жертву своего разврата в тьме полночной  
Поднимет с ложа он позора непорочной  
И от души ее вручит он богу ключ.

Спрашивается: зачем г. Греков перевел сию ерунду? На этот вопрос мы должны отвечать словами самой поэмы: затем он ее перевел, что

...полет его потреба.

454